

УДК 930

**ВОСПОМИНАНИЯ СЫНА****Г. Л. Кертман**Фонд «Общественное Мнение», 123242, Москва, пер. Капранова, д. 3  
kertman@list.ru

Давно понял, что цельных воспоминаний об отце мне написать не дано – хоть и задумывался об этом неоднократно. Мешает многое. Помимо прочего – опасение ненароком пересечь черту между публичным и приватным, рассказать что-то «лишнее», «ненужное»: хотя отец не был «закрытым» и тем более скрытным человеком (скорее, наоборот), но, как и все мы, не каждый свой шаг и не каждое слово предназначал для «города и мира». И сомнение в том, что сама «естественная» оптика сыновних воспоминаний (всегда с предельно близкого расстояния, часто – снизу вверх, и уж точно – без всяких признаков объективности) позволит отделить интересное и важное для людей, знавших и любивших его, от неинтересного и неважного. И необходимость в какой-то мере рассказывать о себе. Все эти и иные сложности, комплексы, предрассудки и препятствия, конечно, преодолимы при наличии должного устройства памяти и интуиции, «мемуарного таланта», но я им в отличие от моей сестры не обладаю.

Поэтому ограничусь рассказом о нескольких эпизодах, врезавшихся мне в память. Объединяет их только одно: в каждом случае что-то в поведении или словах отца произвело тогда на меня сильное впечатление, было в той или иной мере неожиданным. А раз так, то есть вероятность, что и другим людям, помнящим его, эти эпизоды расскажут о нем что-то новое.

1981 год, декабрь, заседание Ученого совета истфака МГУ. Я защищаю кандидатскую диссертацию, отец – «болеет». Тут важно подчеркнуть, что он очень волновался по поводу моей защиты, наверное, больше, чем я. Вроде бы особых оснований для беспокойства не было: я учился в аспирантуре МГУ – разумеется, поступив туда благодаря имени и связям отца, и был, соответственно, «своим» (по крайней мере, для кафедры новой и новейшей истории), диссертация у меня при этом была неплохая, и публикации, и репутация... Но отец все равно очень нервничал – и из-за умеренного чадолюбия, и в силу богатого жизненного опыта. Помимо прочего, была уже (в не очень далеком тогда прошлом) история с кандидатской моей сестры, которую не допустили к защите в Ленинграде в силу идеологических претензий и, скажем так, дефицита интернационализма у обсуждавших ее. Да и я уже успел к тому времени написать статью, в связи с которой в партийных инстанциях МГУ планировались нешуточные оргвыводы (меня – исключить из аспирантуры, сборник – рассыпать, редактора – вообще исключить из партии и уволить из издательства). Там тоже фигурировали идеологические претензии, усугубленные «национальным рефлексом», но по счастливому стечению обстоятельств все обошлось. Так или иначе, отец явно нервничает (причем заранее) настолько, что мы с мамой, в свою очередь, волнуемся за него: ведь несколькими годами раньше он пережил обширный инфаркт.

А надо сказать, что в силу какой-то затянувшейся реорганизации Ученый совет истфака в том году не функционировал с января до начала ноября. Диссертаций, естественно, скопилось несметное число, и, чтобы успеть всю эту очередь ликвидировать до Нового года, работать совету приходилось совершенно ударными темпами. Ежедневно в день заседаний проходили 4 защиты (формально это зачитывалось как два заседания совета, хотя перерыв был – только перекурить).

Итак, сижу я в длинном и узком зале Ученого совета, среди других соискателей, близко к трибуне, а в конце зала, где места для «всех желающих» (и, кстати, таковых довольно много), – отец. Защищаться мне предстоит третьим. Первая защита прошла без происшествий, начинается вторая...

Работа по медиевистике, тему за давностью лет, конечно, забыл. Но «драматургию» помню, как будто это было вчера. Диссертант выступает неплохо, возникает ощущение, что работа если и не выдающаяся, то вполне кондиционная, солидная. А потом следует отзыв ведущей организации – совершенно разгромный, завершающийся выводом о несоответствии работы и диссертанта «предъявляемым требованиям». Причем по лексике, по структуре аргументации, по каким-то еще трудно-

определеными признакам чувствуется (я, во всяком случае, это уловил, несмотря на естественное напряжение перед собственной защитой), что дело тут не в действительном недовольстве качеством работы или, по крайней мере, не только в нем. Причем известно (это было сказано еще в формальном выступлении секретаря совета, предваряющем защиту), что научный руководитель диссертанта недавно скончался. И возникает смутное ощущение, что отзыв ведущей организации метит не столько в диссертанта, сколько в его покойного «шефа», что тут – отголоски какой-то давней борьбы школ или личной вражды, что-то клановое и околонучное (потом спрашивал у знакомых медиевистов – примерно так оно и было). Затем выступают оппоненты: один – умеренно благожелательно, другой – в разгромном ключе, причем в выступлении тоже слышна какая-то «вненаучная» нота. Любопытно, что этот оппонент так и не произнес в конце выступления ни ритуальных слов «работа заслуживает...», ни определенно негативного вердикта («работа не заслуживает...»), несмотря даже на прямое и довольно раздраженное требование председательствовавшего дать совету рекомендацию; однако из его уклончивых ответов было понятно, что он предпочел бы отклонение работы. Далее диссертант отвечает на замечания: с чем-то спорит довольно убедительно по сути, но робко по форме, где-то оправдывается...

А потом председательствующий – следуя процедуре – предлагает высказаться членам Ученого совета. Но никто не высказывается. Тогда предлагается выступить присутствующим – не членам Ученого совета. Не знаю, как сейчас, но тогда на истфаке на защитах выступления «посторонних» были крайней редкостью, обращение к ним было скорее частью ритуала. А уж в те дни, когда совету предстояло провести не две, а четыре защиты – тем более.

И тут мой отец берет слово. Выходит к трибуне и защищает работу, корректно, но жестко оспаривая доводы ведущей организации и оппонента. При этом ссылается не только на сказанное в ходе защиты, но и на автореферат диссертации (успел, значит, просмотреть по ходу заседания; несколько экземпляров были разложены по столам), да и, понятное дело, расширяет предмет обсуждения. Убедителен и элегантен в полемике, как обычно. Кто-то «на галерке» даже заплодировал. И еще кто-то из «посторонних» поддержал диссертанта короткой репликой, но уже с места. А потом было голосование. Диссертант получил 5 «черных шаров» из 17, почти треть. Одним больше – и диссертация была бы отклонена. И вполне вероятно, что так бы оно и случилось, не выступи там мой отец: если он переубедил хотя бы одного члена совета, то это и решило дело.

Это был поступок. Учтем: речь шла не об истории культуры и не об английской истории, где он по определению был одним из наиболее компетентных и авторитетных специалистов в зале, и даже не о новой истории вообще. Но он не убоился ни попасть впросак, ни вмешаться в «разборку» (говоря языком нынешним), подтекста которой не знал. А ведь он, как уже сказано, очень волновался за меня и (тут я абсолютно уверен, я достаточно хорошо знаю своего отца) не мог не подумать хотя бы вскользь, что его выступление может вызвать раздражение у кого-то из членов Ученого совета из числа медиевистов, которое, в свою очередь, может обернуться «черным шаром» уже на следующей защите, моей, благо фамилия редкая. Но он почувствовал запах несправедливости, травли и среагировал мгновенно, как должно.

Еще одна история – по сути созвучная первой, несмотря на вопиющее несходство обстоятельств. Пермь, начало 70-х. Вечер, отец возвращается домой из университета относительно поздно (то ли Ученый совет, то ли праздник какой-то, то ли чей-то юбилей) и как-то крадучись проходит в ванную, жестом приглашая меня последовать за ним, но так, чтобы мама не слышала. Там он пристально рассматривает себя в зеркале и просит осмотреть его голову со всех сторон. Обнаруживается царапина и небольшой синяк на виске, не особо заметные под дужкой очков. Вполголоса, чтобы мама не услышала, рассказывает, что случилось. Оказывается, в нашем подъезде, когда он туда вошел, было темно; отец повернул выключатель, и там обнаружили двое парней (не только с бутылкой, но и с девицами), каковым это вторжение очень не понравилось. Они повели себя весьма агрессивно – хамили, угрожали и оттесняли от выключателя, намереваясь свет выключить.

Что в такой ситуации – будучи застигнут врасплох, не очень отчетливо видя супостатов (вошел из уличной темноты в кромешную темноту подъезда и только что включил свет), да еще и с нелегким портфелем в левой руке – делает солидный человек, профессор, которому уже за пятьдесят? Пытается урезонить нападающих, выскочить обратно на улицу, позвать на помощь? Нет, бьет правой в челюсть того, кто ближе, отталкивает второго (получая, видимо, в этот момент удар в висок) и бросается мимо лифта – ждать, естественно, невозможно. На первом лестничном пролете,

будучи достигнут вторым парнем, бьет его что есть силы ногой и, должно быть, попадает удачно, поскольку преследование на этом прекращается. Поднявшись же на пятый этаж, озабочен прежде всего тем, чтобы не напугать жену, да и сыну рассказывает о произошедшем, очевидно, только потому, что нуждается в помощи при осмотре повреждений. Абсолютно верная реакция, но, честно говоря, не уверен, что в подобной ситуации действовал бы так же, причем и в более раннем возрасте.

Но вернемся в Москву, в конец 70-х. На истфаке МГУ проходит совещание заведующих кафедрами исторических факультетов чуть ли не всех вузов СССР. Огромная аудитория амфитеатром, 400 участников совещания (преподавателей и аспирантов МГУ тоже пускают). К слову, при оглашении данных о составе участников совещания выясняется, что 99,5% – члены КПСС; иначе говоря, оказывается, что отец – все же не единственный беспартийный (решаем, что вторая «белая ворона» – кто-то очень молодой, просто еще не успевший вступить в ряды). Но речь не о том. Отец выступает с докладом о преподавании истории культуры. Выступает замечательно легко, в своей «фирменной» манере: когда слушателю предоставляется возможность наблюдать свободное течение мысли и подключаться к этому процессу. Слушают внимательно, принимают хорошо. Закончив выступление, отец возвращается на свое место в аудитории (сидим мы довольно далеко от трибуны), а слово предоставляется содокладчику – заведующему кафедрой, кажется, «научного коммунизма» одного из московских вузов. Сомлев от сыновней гордости и пермского патриотизма, я не сразу улавливаю, какая ахиня звучит с трибуны, но по какой-то фразе становится очевидно, что в понимании содокладчика «культура» – это «культурность поведения» (чтобы окурки на пол не бросали и в занавески не сморкались), а смысл преподавания истории культуры в вузах – в воспитании у студентов соответствующих навыков. Вот в этот момент отец во весь голос изумленно – и с каким-то даже восхищением – восклицает: «Какой болван!». Содокладчик, возможно, и не слышит, но добрых ползала – несомненно. Во всяком случае, сидящий в президиуме Владислав Павлович Смирнов – блестящий специалист по истории Франции и добрый приятель отца – реагирует чрезвычайно выразительно: на его лице написано и полное согласие с прозвучавшей характеристикой, и призыв к сдержанности, и явный упрек (читалось примерно так: «Вы-то, Лев Ефимович, в зале сидите, не на виду, а мне легко ли “держать лицо” перед публикой, слушая такую чушь? А тут еще Ваша реакция!»). Но в целом выдержка президиума меня поразила – почти все остались невозмутимы. Между тем никаких признаков раскаяния у отца я не обнаружил ни в тот момент, ни несколько позже, когда попытался выяснить, что на него нашло.

Главным образом это объяснялось, конечно, тем, что отец многие годы боролся за то, чтобы история культуры в учебных курсах, школьных и вузовских, преподавалась всерьез, системно, чтобы дело не сводилось к перечислению и бессмысленному зазубриванию отдельных имен классиков. Он видел в этом свою миссию (по сути, просветительскую) и в разных ситуациях и контекстах отстаивал свое видение культуры – как духовной жизни общества. Совещание заведующих кафедрами в Москве было в этом плане едва ли не идеальной «площадкой». Его выступление явно произвело должное впечатление на аудиторию; очевидно, многие так или иначе приняли сказанное к сведению, а некоторые, возможно, задумались, как учесть это в практике преподавания. И тут же – совершенно дремучее выступление содокладчика, смазывающее достигнутый эффект и к тому же демонстрирующее «провинциалам», как проблематика истории культуры трактуется «столицей» (а привычка оглядываться на Москву как образец в подобных ситуациях тогда еще была очень сильна). Было от чего возмутиться! Но в реакции отца присутствовало не только возмущение. Будучи вообще-то человеком более чем толерантным, он иногда весьма эмоционально откликался на крайние проявления глупости, порой запоминал и пересказывал соответствующий эпизод как хороший анекдот (а хорошие анекдоты он любил). Причем эмоция относилась не столько к «автору», сколько к самому ходу мысли, и была, как ни странно, в чем-то позитивной: он умел удивляться неожиданным, парадоксальным, выдающимся поворотам как человеческого ума, так и человеческой глупости – и ценить, хоть и по-разному, и то и другое.

Но ни грамма интеллектуального снобизма, не говоря уже об иных разновидностях снобизма, в отце не было, и это качество в людях он вообще переносил плохо. А мне оно по молодости было очень не чуждо, в связи с чем я получил в аспирантские годы прекрасный урок. Отец всегда интересовался моими учебно-научными делами и расспрашивал о них во всех подробностях. Так вот, я рассказываю об обсуждении моей статьи в лаборатории американистики истфака МГУ (моя работа

была посвящена эпохе «просперити» – середине 1920-х гг. в США) и, в частности, о несправедливых, по моему мнению, замечаниях кого-то из коллег-аспирантов или старших товарищей. О чем шла речь, естественно, не помню, но в конце я привел довод, который, как мне казалось, окончательно доказывал, что мнение оппонента не заслуживает внимания: он даже не знал, кто был тогда министром финансов США. Отца этот аргумент явно покорило, и он сказал не без раздражения, что вообще-то совершенно не обязательно помнить каждого министра и это никак не дает оснований ставить под сомнение компетентность моего критика. Но я уперся: да, любого – не обязательно, но тут речь идет не о ком-нибудь, а о самом Эндру Меллоне (миллиардере, влиятельнейшей фигуре в финансовом мире, известном филантропе)... Говорил я это, видимо, с апломбом классического советского водопроводчика, искренне убежденного, что мужчина, не способный поменять прокладку в смесителе, в принципе неполноценен. И тогда отец спросил: «Хорошо, а кто в это время был министром финансов (канцлером казначейства) в Англии?» Я пожал плечами – ну невозможно же помнить всех министров. Отец выдержал короткую паузу и чуть укоризненно произнес: «Черчилль». Выдержал еще одну короткую паузу, чтобы я осознал глубину своего падения, а затем великодушно сменил тему. И с тех пор, когда бы у меня ни возник соблазн уличить кого-либо в невежестве, я слышу – «Черчилль».

В августе 1987 года (в последнее лето отца) мы вместе жили на даче в Подмоскowie, в Загорянке. Отец, как обычно, много работал – и над «Историей культуры», и над «Чемберленами». Работы с рукописями оставалось еще немало, но ситуация с издательскими планами была неопределенной: сроки неоднократно переносились и, надо признать, отнюдь не всегда по вине издательств – отец с его многообразными обязательствами, с одной стороны, и предельной требовательностью к себе – с другой, периодически не укладывался во временные рамки. И вот где-то в самом конце лета, за несколько дней до золотой свадьбы родителей и отцовского семидесятилетия (в один день, 1 сентября), вдруг выяснилось, что надо сдать обе рукописи до Нового года, и тогда книги выйдут довольно быстро. Казалось бы – хорошая новость, но отец воспринял ее, мягко говоря, нервно: он не был уверен, что выдержит такой штурм (сказано было гораздо определеннее). Немного позже я завел с ним разговор о сложившейся ситуации: хотелось хоть чем-то помочь, да и отец явно был не прочь посоветоваться. Вопрос, собственно, стоял просто: надо, по возможности не надрываясь, дodelывать одну рукопись, а другую отложить и надеяться, что задержка не поставит на ней крест. Вот только неясно, какую именно.

Я советовал сосредоточиться на «Чемберленах». Там не был еще написан завершающий параграф, да и в целом последними главами рукописи отец был недоволен и хотел еще над ними поработать (они и вправду не так хороши, как первые), к тому же требовались значительные сокращения. Эту книгу отец писал многие годы, и она была ему очень дорога. Помимо прочего дорога и тем, что, занимаясь ею, он имел дело с причудливой фактурой живой истории, где все вариативно и вероятно, где есть закономерности, но нет «железобетонных» причинно-следственных связей, где ход судьбоносных событий нередко зависит от мелочей и частных случаев, а страсти и расчеты равно значимы, где логика поведения персонажей может определяться переплетением сословных предрассудков, борьбы амбиций, зигзагов рыночной конъюнктуры и интеллектуальной моды – и мало ли чем еще. Всмотриваться в нюансы, изучать изнанку событий столь близкой ему английской истории отцу было бесконечно интересно, он занимался этим с азартом и радовался локальным открытиям (когда какая-нибудь фраза в письме или воспоминаниях кого-либо из участников событий позволяет лучше понять происшедшее или хотя бы выстроить интересную гипотезу). Причем отцу этого явно не хватало в последние годы жизни. Нет, он никогда не сожалел о том, что погрузился в проблемы методологии истории и истории культуры, и не думал бросать эти штудии, но с какого-то момента стал ощутимо скучать по ткани истории, которую можно «пощупать пальцами». Как-то, описывая свою занятость и жалуясь на перегрузку, он сказал, что стал после многолетнего перерыва читать студентам курс новой истории (кажется, первый период – до франко-прусской войны). А когда я усомнился, стоило ли, если работы невпроворот, брать кроме истории культуры и методологии еще и такой курс, отец ответил, что получает огромное удовольствие, снова рассказывая студентам об истории «как она есть», и поэтому отказаться не в силах. Работа над «Чемберленами», когда он к ней обращался – а шла она с большими перерывами, – приносила ему уж точно не меньшее удовольствие.

Была и еще одна сторона дела. Многие годы, чуть ли не с молодости, отец мечтал о большом романе, который он напишет когда-то, на склоне лет. Он писал стихи, а в 40–50-е годы – и пьесы; написал и роман – но в стихах. А к прозе – лишь подступался: у него были замыслы, наброски романа, у героев даже, кажется, были имена. Причем еще в начале 80-х отец верил, что эта мечта может сбыться. Но к семидесятилетию он не без горечи смирился с тем, что замысел останется неосуществленным: годы шли, свободного времени не прибавлялось, сил – тоже. Так вот, в работе над «Чемберленами» (над повествованием, представляющим собой помимо прочего семейную сагу на фоне истории – с обширной портретной галереей исторических персонажей) отец мог в значительной мере реализовать свою потребность в литературном творчестве.

Завершение же работы над «Историей культуры» особых творческих радостей не сулило: в рукописи необходимо было главным образом заполнить лакуны, оставшиеся при описании некоторых, не самых близких и интересных отцу, культурных феноменов.

Вот примерно об этом я и говорил ему, советуя предпочесть «Чемберленов». И даже добавил: «Раз у тебя есть ощущение, что ты можешь не успеть закончить обе книги (речь шла не о сроках сдачи рукописей, а о совсем иных сроках – такой уж вышел разговор), то лучше взяться за то, что хочется, что ты будешь делать со вкусом, себе в радость». Отец выслушал мой монолог и ответил примерно так: «Да, все верно. Но, с другой стороны, я столько времени всем рассказываю, что такое история культуры и как ее преподавать, что пора предъявить результат – учебное пособие. Сама по себе идея уже принимается на всяких форумах более или менее нормально, но пока нет пособия (а никто, кроме меня, его не напишет), нет и шансов, что дело пойдет».

То есть тут был в чистом виде конфликт между чувством и долгом. Кажется, отец немного поколебался, но выбор сделал быстро. И умер он 30 ноября, просматривая верстку «Истории культуры». А «Чемберленов» окончательно подготовить к печати, действительно, не успел.

Следующий эпизод – с привкусом тайны. Осень, сентябрь или начало октября того же 1987 года, родители – в Перми, я из Москвы говорю с отцом по телефону. У меня важная новость: только что моей беременной жене сделали УЗИ, и пол нашего ребенка с высокой степенью вероятности установлен. Но закончить я не успеваю, отец перебивает и уверенно говорит, что будет мальчик – он это точно знает. Я, растерявшись, выражаю какое-то сомнение (не в прогнозе – УЗИ так и предсказывало, а в том, что отец может это знать наверняка) и слышу в ответ слегка раздраженное и почти слитное: «Ай, оставь, пожалуйста!» Эту фразу, и именно с такой интонацией, мне не раз доводилось слышать от отца обращенной и ко мне, и к сестре, а когда-то – и к маме. Наверное, звучала она иногда и вне семейного круга, но вряд ли кто-то особо ее фиксировал – ничего особенного в этой фразе нет. Но произносилась она в строго определенном контексте и означала у отца всегда одно и то же. Дело в том, что его, любившего умные, содержательные споры (кстати, однажды он сказал, что, по его мнению, разговор – это всегда спор; а если люди обмениваются репликами, информацией без обмена мнениями, т.е. без спора, то и считать это разговором нельзя), всегда удручало, когда кто-то возражал против самоочевидного, спорил из чистого упрямства. И вот именно это выражалось слитным «Ай, оставь, пожалуйста!»: не надо спорить с бесспорным. То есть я услышал абсолютную уверенность, но все же не мог не возразить: «Ну откуда ты можешь это знать?» И тогда отец ответил: «Хорошо, я тебе потом скажу» – и решительно сменил тему. Я так и не узнал (пока не узнал?), что он имел в виду, но ему действительно было доподлинно известно, что у него будет именно внук. И внук родился – через полтора месяца после его ухода.

И еще один эпизод из той же осени – но уже без всякой мистической окраски. Отец рассказал мне сон, который ему приснился. Вообще-то не припомню, чтобы подобное случалось когда-либо раньше: в информативную ценность снов отец нисколько не верил, а повышенное внимание к ним воспринимал иронически. Но тут был совершенно особый случай, и не поделиться таким сном было никак невозможно. Напомню: осень 1987 года, перестройка набирает обороты, многое изменилось до неузнаваемости, но некоторые устои еще кажутся незыблемыми – до Первого съезда народных депутатов СССР еще полтора года. И вот – сон (пересказываю как запомнил – но запомнил хорошо): «В Кремлевском дворце съездов идет конференция КПСС, произносятся лихие речи, запреты падают, говорят уже такое... Только что закончился перерыв, делегаты в зале, начинается очередное заседание, а я почему-то задержался (наяву отец, напомню, беспартийный). Стою один в огромном фойе – и вдруг появляется Сталин. Во френче, в мягких сапогах и с трубкой в руке. Направляется прямо ко мне и спрашивает, указывая трубкой в открытую дверь зала: “Нет, ну как

Вам это нравится, Лев Ефимович?» Я теряюсь, не могу сообразить, что отвечать, но ответа он, собственно, и не ждет. Он направляется в зал, жестом приглашая меня за собой и приговаривая: «Распоясались. Но ничего, сейчас я им покажу». И вот он не спеша идет по проходу, выступающий замолкает на полуслове, все головы поворачиваются. Немая сцена. А я иду за ним как-то суетясь, мелкими шажками и вполголоса приговариваю: «Пожалуйста, помягче, Иосиф Виссарионович, очень прошу, помягче!» И тут просыпаюсь». Отец от души изумлялся этой игре подсознания, но, кажется, слегка стеснялся того, что именно ему привиделась во сне такая картина – как бы «экранизация» комплексов целого поколения интеллигенции.

А самое первое мое воспоминание об отце, которое, возможно, заслуживает упоминания, датируется предельно четко. Мне 6 лет, и отец забирает меня из детского сада (что и вообще-то случалось нечасто), приехав на такси (!). Он в приподнятом, праздничном настроении, таксист тоже как-то возбужден. И отец говорит мне, что сегодня – великий день, потому что человек впервые полетел в космос, и человек этот – наш, Юрий Гагарин. А я бы и рад разделить торжество, но есть одна проблема. «Папа, а что такое космос?» – спрашиваю я. Почему-то с абсолютной четкостью помню: водитель добродушно хмыкает, такси поворачивает с улицы Полины Осипенко на Компрос, отец на несколько секунд задумывается и начинает объяснять: «Старик, высоко над землей...».

Мне 15 или, скорее, 16 лет. По случаю несчастной любви и под сильнейшим впечатлением от «Облака в штанах» я пишу исповедальную и, видимо, гениальную лирическую поэму. Хватает меня, впрочем, только на небольшое введение, которое начинается скромно: «Я расскажу вам о том, что было, // И немного о том, что будет». Были там и такие строки: «Только немногие... (забыл), // Болью выведенные в поэты, // И, разумеется, мои родители // Это поймут – но не мало этого!» Читаю родителям и замечаю, как они одновременно взглянули друг на друга – причем как-то по особому. Чувствую, что во взглядах этих, удивленных и растроганных, не только сочувствие к моим терзаниям и не только высокая оценка моих поэтических талантов; главное тут – что-то иное. Позже догадываюсь: благодарность друг другу. Но еще долго не понимаю – почему.

А понять вроде бы несложно. Мало того, что сын в самом что ни на есть возрасте бунта против старших, бегства, низвержения авторитетов читает родителям только что написанные лирические стихи, явно воспринимая это как нечто совершенно естественное, так еще и упоминает их в этих стихах – причем в таком контексте. Но я-то действительно воспринимал это как должное (притом что инфантилизмом не отличался – точно не мой недостаток) и лишь годы и годы спустя понял, что вообще-то такие отношения с родителями далеко не «сами собой разумеются». Так что эта история не про меня – про них.

Ну и еще один эпизод, тоже связанный с поэзией, но на этот раз с хорошей. Мы с отцом всегда делились поэтическими «открытиями», и как-то в Москве, за год или два до его смерти, я читал ему В. Шефнера: находился тогда под сильнейшим впечатлением от сборника «Северный склон» и многие стихи помнил наизусть. Стихи эти (как я и сейчас считаю, замечательные) были пропитаны предощущением ухода и на разные лады разыгрывали, перепевали эту тему. Например, так: «Ночью в Иокогаме, стоя на берегу, // Корабельных названий разглядеть не могу. // Мрак – на многие мили, молчаливая высь... // Теплоходы забыли, как при свете звались. // Невеселое чудо я провижу вдаль: // Я ведь тоже забуду, как меня нарекли. // И от хлеба, от соли, от земного труда // Я в тот день поневоле уплыву навсегда – // Не в заморские страны, не к добру и не злу – // Кораблём безымянным в безымянную мглу».

Отец слушал внимательно, вчувствовался, кивал, в какой-то момент попросил: «Давай еще». А когда я прочел все, что запомнил, он, немного подумав, медленно сказал: «Да, сильно. Но знаешь, если бы я так мог – я писал бы о жизни».

*Дата поступления рукописи в редакцию 26.06.2012*

## SON'S MEMORIES

**G. L. Kertman**

The Public Opinion Foundation, Kapranov lane., 3, 123242, Moscow, Russia  
kertman@list.ru